



ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОТКРЫТИЕ ГОДА

ПЕНИЕ ПЧЁЛ

СОФИА СЕГОВИЯ

София Сеговия

Пение пчел

Серия «Trendbooks WOW»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64036141
С. Сеговия. Пение пчел: ООО «Клевер-Медиа-Групп»; Москва; 2021
ISBN 978-5-00154-500-2

Аннотация

В день, когда под мостом нашли брошенного ребенка, жизнь их городка изменилась навсегда. Со шрамом на лице, окутанного живым одеялом пчел, местные окрестили маленького Симонопио предвестником беды. Недаром вслед за его появлением до их земель докатилась война, началась эпидемия испанки.

Однако ужасы тех страшных лет обошли стороной семейство Моралесов, у которых мальчик обрел дом и любовь. Наделенный магическим даром, он научился слышать пение пчел, видеть прошлое и грядущее.

Симонопио суждено защищать несколько поколений семьи Моралесов. Сможет ли он быть с ними всегда, особенно в миг решающей схватки, когда в классовой борьбе схлестнутся те, кто хочет отобрать чужую землю, и те, кто будет защищать ее ценой жизни?

Содержание

1	5
2	23
3	28
4	32
5	34
6	40
7	43
8	49
9	57
10	62
Конец ознакомительного фрагмента.	65

София Сеговия

Пение пчел

Sofía Segovia

El murmullo de las abejas

© 2015 by Sofía Segovia

Cover Design by David Drummond

© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2021

* * *

Посвящаю моему мужу Хосе, нашим детям Софии, Давиду и Кристине. Моим родителям Энрике и Сусане. А также Соледад Бетанкур, перевернувшей всю мою жизнь своими сказками.

Хочу упомянуть также Франциско и Лидию, Артура и Марию-Луису, Чело, Марию-Терезу и еще одного Франциско, а также еще одну Лидию, Анхелику, Чину, Энрике и Марию-Элену.

Эту историю я услышала не от них, но именно они вдохновили меня на ее создание.

1

На заре того октябрьского утра плач младенца смешивался с воем холодного ветра в ветках деревьев, криками птиц и прощальным стрекотом ночных насекомых. Плач доносился из густого темного леса, взбиравшегося по склону, но на расстоянии нескольких метров до человеческого уха обрывался, словно неведомое заклятие мешало ему.

Даже спустя годы местные пересказывали историю о том, как дон Теодосио, отправившись на работу в соседнее поместье, прошел мимо брошенного младенца, не услышав ни звука, или как Лупита, прачка Моралесов, пересекла мост по пути в Петаку, куда ходила за приворотным зельем, не заметив ничего особенного. «Ах, если бы я его услышала, я бы непременно его подобрала. Представить себе не могу, кто мог бросить новорожденного малютку на произвол судьбы, обрекая на смерть», – поведает она вечером каждому готовому ее выслушать.

Да, загадка, ничего не скажешь. Кого в округе в последнее время видели с животом? Кому принадлежит несчастное дитя? В сельской местности известия о подобном бесстыдстве распространяются быстрее кори, и, если бы кто-то один про такое знал, знали бы и остальные. Но нет, никто ни о чем подобном не слыхивал. Чего только потом не говорили! Более всего общественное сознание будоражила версия, что мла-

денец принадлежал одной из живших в Петаке ведьм, которые, как известно, не слишком ограничивали себя в радостях плоти, – якобы ведьмы бросили под мост это безобразное и странное дитя – дар Всевышнего или дьявола, кто знает? – чтобы препоручить его милости Божьей.

Никто не мог сказать, как долго лежал брошенный ребенок под мостом, голый и голодный. Никто не мог объяснить, как он выжил в осеннюю стужу, как не истек кровью через незавязанную пуповину, не стал жертвой крыс или хищных птиц, медведей или ягуаров, которых полным-полно в тамошних местах. Все недоумевали, каким образом старая няня Реха обнаружила его под живым покрывалом жужжащих пчел.

Остаток своих дней Реха решила провести под навесом сарая, который в асьенде¹ Амистад использовали в качестве хранилища для разного скарба, – в незамысловатом строении без окон, в точности таком же, как прочие хозяйственные постройки позади главного дома, подальше от глаз именитых гостей.

Единственным, что отличало этот сарай от других, была навесная крыша, позволявшая старухе зимой и летом оставаться на свежем воздухе. Навес был не более чем счастливым совпадением – Реха выбрала его не для защиты от непогоды, а ради вида, открывавшегося с этой точки, а еще ради

¹ Асьенда – крупное частное поместье в Латинской Америке (здесь и далее – примечания редактора).

ветра, который прилетал с горных склонов к ней и только к ней.

Прошло столько лет с тех пор, как старуха заняла свой наблюдательный пост, что никто уже не помнил, когда это случилось и как ее кресло-качалка прибыло в сарай. Все думали, что она уже не встает: в таком возрасте (сколько старухе лет, никто точно не знал) кости не держат, а мышцы не отзываются на приказы. Когда поднималось солнце, Реха уже сидела в кресле-качалке, движимой скорее ветром, нежели ее старыми ногами. Вечером тоже никто не видел, как она поднимается и уходит: все были заняты собственными приготовлениями ко сну.

Много лет провела старуха на одном месте, так что люди позабыли и про историю ее жизни, и про нее саму: она стала частью пейзажа, пустив корни в землю, на которой покачивалась в своем кресле. Ее тело окостенело, а кожа превратилась в темную заскорузлую кору.

Проходя мимо Рехи, никто с ней не здоровался, как не здороваются с сухим умирающим деревом. Дети рассматривали ее издалека, прибегая из поселка поглазеть на живую легенду; лишь изредка кто-то из них отваживался подойти ближе и убедиться в том, что она и вправду живая, а не деревянная. Вскоре они удостоверились, что под корой действительно теплится жизнь: даже не открыв сомкнутых глаз, старуха ловко ударила одного дерзкого смельчака своей палкой.

Реха не выносила чужого любопытства, предпочитая при-

творяться, будто сделана из дерева. Она не любила, когда ее замечали. Ее глаза столько всего повидали, уши услышали, рот произнес, кожа прочувствовала, а сердце выстрадало, что любой бы утомился. Она дивилась, почему вообще до сих пор жива, чего она ждет, чтобы покинуть наконец этот мир. А поскольку она больше никому не нужна и ее тело высохло, она не желала ни видеть других, ни чтобы другие видели ее, не хотела ни слышать, ни говорить, ни даже чувствовать.

Некоторых людей подле себя старуха все же терпела – например, другую няньку, Полу, которая так же, как и сама Реха, помнила лучшие времена, оставшиеся в далеком прошлом. Терпела она и Франсиско, которого когда-то, еще в ту пору, когда позволяла себе что-то чувствовать, очень любила, но с трудом выносила его супругу Беатрис и двух дочерей. Первую потому, что не желала впускать в свою жизнь кого-то нового, а двух других по той причине, что они казались ей несносными.

Их семейству не было от нее нужно ровным счетом ничего, да и сама она ничего не предлагала, ибо с годами была освобождена от обязанностей служанки. Она уже давно не участвовала в ведении домашнего хозяйства – тогда-то и слилась Реха со своим креслом-качалкой, так что уже было не отличить, где кончается дерево и начинается человек.

С первыми лучами солнца она перемещалась из спальни в свой сарай, где ее ожидало кресло, и закрывала глаза, чтобы

ничего не видеть, и уши, чтобы не слышать. Пола приносила ей завтрак, обед и ужин, к которым она едва притрагивалась, потому что тело уже не нуждалось в питании. Вставала же с него Реха затемно, когда мерцающие за ее закрытыми веками светлячки сообщали о наступлении ночи, а в бедрах отзывались тесные объятия кресла-качалки, много раньше нее самой уставшего от столь продолжительного соседства.

На обратном пути к кровати она открывала глаза, хотя видела и с закрытыми. Ложилась поверх одеяла, потому что не мерзла: кожа не пропускала даже холод. Но Реха не спала. Тело больше не нуждалось во сне. Наверное, она исчерпала время, отведенное человеку на сон, или же боялась провалиться в сон вечный. Она давно уже не думала об этом. После нескольких часов, проведенных на мягкой постели, она чувствовала томление и тесноту, которые говорили ей, что настало время вернуться к своему верному другу – креслу-качалке.

Няня Реха не знала точно, как долго она живет на этом свете. Не знала, где родилась, не помнила своего полного имени, – никому и в голову не приходило называть ее как-то иначе, нежели няня Реха. Она не помнила ни своего детства, ни родителей, если они когда-либо у нее были. И если бы кто-то ей сказал, что она появилась на свет прямо из земли, как ореховое дерево, она бы поверила. А еще она не помнила лица человека, с которым когда-то зачала свое дитя, зато точно помнила его спину, когда он уходил прочь, оставив ее

в лачуге из веток и глины, брошенную на произвол судьбы в незнакомом городе.

Сколько бы времени ни минуло с той поры, она помнила толчки у себя в животе, покалывание в грудях и сладкую желтоватую жидкость, которая начинала сочиться из них еще до того, как родился ее единственный сын. Она сомневалась, хорошо ли помнит лицо ее мальчика; возможно, воображение сыграло с ней злую шутку, смешав его черты с чертами множества других младенцев, белых и темнокожих, вскормленных ею в юности.

Она отчетливо помнила день, когда впервые попала в Линарес, полумертвая от голода и холода, и все еще чувствовала ребенка на руках, которого крепко прижимала к груди, чтобы укрыть от ледяного январского ветра. Прежде она ни разу не спускалась с гор, а потому ни разу не видела столько домов, не ходила по улицам, не пересекала площадь; ни разу не садилась на городскую скамейку, как села в тот день, когда усталость подкосила ее колени.

Она понимала, что ей нужно кого-то попросить о помощи, хотя не знает, как это сделать, и никогда не попросила бы ни о чем для себя лично. Она попросит помощи ради ребенка, которого держит на руках, потому что уже два дня он не сосет грудь и не подает голос. Это и вынудило ее покинуть сьерру² и отправиться в город, который она иногда рассматривала издалека, из окна своей лачуги в горах.

² Сьерра (исп. «пила») – горы, горная цепь в Латинской Америке.

Она была уверена, что никогда прежде не чувствовала такого холода. Наверное, местные жители тоже редко сталкивались с подобным явлением, потому что на улицах не было ни души, всех распугал ледяной воздух. Дома выглядели неприступно. Двери заперты на засовы, ставни на окнах плотно закрыты. Она сидела на своей скамейке посреди площади, растерянная, испуганная, продрогшая до костей, с каждой минутой все больше страшась за ребенка. Она не знала, сколько времени провела на этой скамейке, и, возможно, так бы на ней и осталась, превратившись в городскую статую, если бы не местный врач, который оказался добрым человеком и встревожился, увидев женщину в столь бедственном положении.

Доктор Дория покинул свой дом, невзирая на стужу, потому что сеньора Моралес умирала. Два дня назад она произвела на свет первенца, заботы о котором взяла на себя акушерка. На рассвете муж отправил акушерку к доктору, обеспокоенный лихорадкой, терзавшей его супругу. Пришлось долго упрашивать роженицу объяснить толком, что именно у нее болит: оказывается, болела грудь. Стоило ребенку прикоснуться губами к соску, инфекция отзывалась резкой болью. Мастит.

– Почему вы не сказали мне раньше, сеньора?

– Мне было стыдно, доктор.

Сейчас инфекция распространилась. Ребенок плакал без умолку – он не ел больше двенадцати часов, потому что мать

не могла дать ему грудь. Доктор ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то умер от мастита, и все же сомнений не было: сеньора Моралес умирала. Пепельный цвет глаз, их болезненный блеск указывали доктору на то, что скоро она отдаст Богу душу. Встревоженный, он позвал сеньора Моралеса в коридор.

– Вы должны позволить мне осмотреть вашу супругу.

– Нет, доктор. Пропишите лекарство, этого достаточно.

– Какое лекарство? Ваша супруга умирает, сеньор Моралес. Вы должны позволить мне разобраться, от чего именно.

– Думаю, из-за молока.

– А может, от чего-то еще?

Доктор сделал все возможное, чтобы его убедить, – сказал, что ощупает, но смотреть не станет или, наоборот, осмотрит, но не прикоснется. В конце концов муж уступил и убедил умирающую позволить доктору пощупать ее грудь и дать исследовать низ живота и пах. Прикасаются к чему-либо надобности не возникло: сильнейшая боль внизу живота и сгустки гноя предвещали смерть.

Когда-нибудь ученые выяснят причины смерти рожениц, равно как и способы их предотвратить, но для сеньоры Моралес этот день был слишком далеким. Доктору ничего не оставалось, кроме как обеспечить больной возможный комфорт, пока Богу не будет угодно призвать ее душу.

Чтобы спасти младенца, доктор Дория отправил юного слугу Моралесов на поиски дойной козы. Сам же тем време-

нем накормил его наскоро смешанным раствором воды с сахаром. Когда принесли козье молоко, выяснилось, что новорожденный его не переносит. Он был обречен на ужасную медленную смерть.

По дороге домой Дория не мог отделаться от печальных мыслей. Он простился с мужем и отцом, пояснив, что больше ничего не может сделать.

– Мужайтесь, сеньор Моралес. Бог знает, почему все складывается так или иначе.

– Спасибо, доктор.

Пересекая площадь, он увидел женщину из черного льда, что само по себе было маленьким чудом, потому что он так замерз и был так измучен, что шел по улице, опустив голову. Женщина сидела на скамейке с бронзовой табличкой, оповещавшей, что данная скамейка подарена городу семьей Моралес. Жалость победила усталость, и доктор подошел к женщине спросить, что она здесь делает и нужна ли ей помощь.

Человек говорил слишком быстро, чтобы Реха поняла его, но она прочитала что-то в его глазах и доверилась ему настолько, что последовала с ним до самого дома. Лишь оказавшись в тепле, она осмелела и приоткрыла личико ребенка. Оно было синеватым и безжизненным. Реха не выдержала и застонала. Человек, оказавшийся местным доктором, сделал все возможное, чтобы как-то его оживить. Если бы онемевшая от холода Реха могла говорить, она бы спросила, какой в этом толк. Но она лишь стонала и охала, потрясен-

ная видом своего посиневшего сына.

Она не помнила, как доктор ее раздел, и не подумала о том, что впервые мужчина снимает с нее одежду, не набрасываясь на нее в следующий миг. Как тряпичная кукла, она позволяла прикасаться к себе и себя осматривать, отозвавшись лишь в тот момент, когда врач коснулся груди – горячих, огромных и болезненных из-за скопившегося внутри молока. Затем позволила надеть на себя теплую чистую одежду, даже не спросив, кому она принадлежит.

Когда доктор вывел ее на улицу, она лишь подумала, что теперь ей не будет так холодно, когда он снова усадит ее на ту же скамейку, и была немало удивлена, когда они миновали площадь и дорога привела их к дверям самого нарядного дома на улице.

Внутри было темно. Как и у нее на душе. Реха ни разу не видела таких белых людей, как та женщина, что встретила их в прихожей. Ее проводили в кухню, где она уселась на краешек стула, потупившись. Ей не хотелось видеть ни лиц, ни глаз. Хотелось одного – вновь оказаться в лачуге из веток и глины, пусть даже она замерзнет наедине со своей тоской, потому что чужая тоска была еще невыносимее.

Она услышала плач новорожденного, сначала на него откликнулись соски юной матери и только затем ее уши. Так тело реагировало всякий раз, когда ее ребенок плакал от голода, даже если находился вне пределов слышимости. Но ведь ее ребенок посинел, так? Или врач спас его?

Грудь распирало все сильнее. Пора было что-то делать. Ей был нужен ребенок.

– Мне нужен мой мальчик, – тихо сказала она.

Никто из тех, кто был в кухне, ее не услышал, а потому она осмелилась произнести громче:

– Мне нужен мой мальчик.

– О чем она говорит?

– Мне нужен мальчик.

– Не пойму, что ей нужно?

– Ей нужен ее сын. – Доктор принес на руках туго стянутый сверток и протянул Рехе. – Он слабенький. Вряд ли сможет нормально поесть.

– Это мой сын?

– Нет, но вы ему очень нужны.

Что верно, то верно: они оба были нужны друг другу. Реха расстегнула блузку, достала грудь, и ребенок перестал плакать. Опустошив одну за другой обе груди и почувствовав облегчение, она присмотрелась к ребенку: это был не ее сын. Она поняла это сразу, потому что звуки, которые он издавал во время плача и еды, манера вздыхать и урчать были другие. Он и пах по-другому. Рехе страстно захотелось понюхать его шейку, но она усомнилась, что ей позволят это сделать, ведь, кроме прочего, главным отличием этого ребенка был цвет кожи. Если кожа ее сына из оливково-смуглой становилась синеватой, этот ребенок из белого превращался в насыщенно-розового. Все молча наблюдали за Рехой. Единственным

звуком, нарушавшим тишину кухни, было чмоканье сосущего младенца.

Альберто Моралес прикорнул возле жены. После нескольких дней ее стонов и пронзительного плача новорожденного он свыкся с мыслью, что, пока они шумят, они живы. Оглушительная тишина разбудила его: он не слышал ни стонов жены, ни плача ребенка. Не смея прикоснуться к жене, он в отчаянии помчался на поиски сына. На кухне он обнаружил прислугу и доктора Дорию, стоявших, как он предполагал, возле тельца его сына. Заметив его появление, все расступились, позволив ему пройти.

Перед ним был его младенец, сосущий самую смуглую грудь, какую ему когда-либо доводилось видеть.

– Мы нашли кормилицу для вашего сына.

– Она такая черная...

– Молоко-то у нее белое, как и должно быть.

– Значит, с ребенком все будет в порядке?

– С ним все будет хорошо. Он всего лишь хотел есть.

Взгляните на него сейчас.

– Доктор, когда я проснулся, моя жена не шелохнулась, – сказал Моралес.

Такова была кончина сеньоры Моралес.

Реха держалась подальше от поминок, погребения и плача. Для нее этой сеньоры будто и не существовало, и иногда, когда ребенок засыпал и она слышала тихий зов гор, ей казалось, что ребенок, вышедший не из ее тела, пророс из

земли. Как и она сама, чьим единственным воспоминанием были горы.

Рехой владело что-то более сильное, чем материнский инстинкт, и в течение последующих лет единственным, что заполняло ее жизнь, был ребенок. Она верила, что выкармливает его ради самой земли, неспособной помочь, поэтому ей не приходило в голову перестать кормить его после первого зубика и даже в ту пору, когда все зубы были на месте. Она лишь шептала: «Не кусайся, малыш». Ее молоко было пищей, утешением, лаской. Если ребенок плакал – она давала ему грудь; если злился, шумел, ворчал, грустил, скучал, простужался или плохо спал – она снова и снова давала ему грудь.

Шесть лет маленький Гильермо Моралес наслаждался грудью няни Рехи. Всех преследовала мысль, что бедный ребенок может умереть с голоду, и никто не осмеливался в чем-то ему отказать. Но как-то раз тетушки Бенитес зашли проведать безутешного вдовца и, придя в ужас оттого, что мальчик школьного возраста сосет черную грудь служанки, потребовали у сеньора Моралеса немедленно прекратить это.

– Разве так можно?! – воскликнула одна. – Ему что, голодная смерть грозит?

– Просто скандал! – заголосила другая. – Это неприлично, Альберто!

Чтобы как-то помочь смущенному отцу, парочка старых дев забрала ребенка с собой в Монтеррей. Обе понимали: не

существует иного средства, чтобы ребенок послушался или уснул, – мальчик не делал ни того ни другого вдали от груди своей няни Рехи.

Так Реха осталась не у дел, а молоко у нее по-прежнему прибывало, так что повсюду, где бы она ни прошла, за ней вился белый ручеек.

– Что же нам теперь делать, Реха? – спрашивали ее другие слуги, уставшие ходить следом и подтирать капли.

Реха не знала, что ответить. Знала лишь одно: у нее отняли ребенка.

– Ох, Реха, – вздыхали они. – Если так пойдет и дальше, негоже молоку пропадать даром.

И ей начали приносить для вскармливания истощенных младенцев и сирот или же просто стеклянные бутылочки, которые она наполняла молоком. Но чем больше она кормила, тем больше прибывало молока. Вскоре вдовец Моралес заключил еще один брак – с Марией, младшей сестрой покойной супруги, и они подарили няне Рехе еще двадцать два младенца.

В течение последующих лет никто не видел Реху без ребенка у груди, однако с особой нежностью она вспоминала Гильермо Моралеса – первого малыша, которого она выкормила и который спас ее от ужасного одиночества, направив по пути, сделавшему ее счастливой на многие годы.

Через какое-то время Гильермо вернулся, но не в старый дом на площади. Его отец, устав от жизни в шумном цен-

тре, принял экстравагантное решение покинуть фамильный особняк и перебраться на асьенду Амистад, расположенную в стороне от городской застройки. Именно там Гильермо возмужал и обзавелся собственной семьей. Унаследовав поместье после смерти родителя – тот скончался от старости, – он унаследовал также и няню Реху, которая отныне вскармливала его детей, не замедливших появиться на свет.

Удивительный случай: отца вскормила та же грудь, что и его отпрысков. Но когда он предложил поискать новую кормилицу и дать Рехе передохнуть, его супруга отказалась наотрез: может ли чье-то молоко быть лучше, чем у их кормилицы? Не может. Пришлось Гильермо уступить, и вообще он не слишком задумывался об этом, делая вид, что не помнит, как долго сосал грудь.

Именно в поместье Амистад состарилась Реха, как и он сам, скончавшись от какой-то заразы. И, как было заведено в их семействе, завещав поместье Франсиско, единственному сыну, выжившему после двух эпидемий – дизентерии и желтой лихорадки, – он завещал ему также и старую няню Реху вместе с ее креслом-качалкой.

Реха не кормила дочерей Франсиско и его жены Беатрис. Время безжалостно высушило женщину, которая уже и не помнила, скольких выкормила окрестных детей благодаря своему изобилию. Не помнила она и того, как выжала последнюю белую каплю из своих грудей и их трепет еще до того, как она слышала плач голодного младенца.

В то октябрьское утро 1910 года жители поместья встали на рассвете, как вставали ежедневно, готовые приступить к обычным делам. Пола открыла глаза, даже не взглянув на кровать соседки по комнате. После десятилетий, прожитых бок о бок с Рехой, она знала, что старуха приходила и уходила неслышно. Таков был ее обычай. Поместье меж тем ожидало: пришли пеоны³ со своими инструментами, чтобы отправиться в поля обрабатывать сахарный тростник, а домашняя челядь стряхивала с себя последние остатки сна, готовясь к работе. Пола умылась и оделась, собираясь выпить на кухне кофе, а затем отправиться в город, в пекарню на площади, за свежим хлебом. Прикончив свой кофе с молоком, она взяла деньги, которые сеньора Беатрис оставляла для нее в жестянке на кухне.

День обещал быть солнечным, однако Пола все равно прихватила шаль: по утрам в это время года воздух после ночи оставался холодным. Она направилась по самой короткой дороге, что вела из поместья в город.

– Идете в город, донья Пола? – спросил Мартин, садовник, – этот вопрос он также задавал ежедневно.

– Да, Мартин. Я ненадолго.

Пола любила эти маленькие обычаи. Ей нравилось еже-

³ Пеонаж – по сути, латиноамериканская разновидность крепостного права. Форма эксплуатации непосредственных производителей (преимущественно крестьян), основанная на превращении их в наследственных должников – пеонов, находящихся в кабальной зависимости от помещика или предпринимателя. Пеонаж был особенно распространен в Латинской Америке.

дневно ходить за хлебом. Ведь так она могла узнать новости со всего Линареса и увидеть издали парня, теперь уже старика, который так нравился ей в юности. Она покидала поместье, провожаемая размеренным поскрипыванием кресла-качалки, в котором сидела Реха. Тихо радуясь, брела по обсаженной с обеих сторон высоченными деревьями дороге, которая вела в город.

Когда няня Реха еще говорила, она рассказывала, как вдовец Альберто Моралес сажал эти деревья – в ту пору жалкие прутики. Вернувшись, она, как всегда, отнесет Рехе завтрак. Внезапно няня Пола остановилась и напрягла память. А где же Реха? Пола каждый день проходила мимо ее черного кресла-качалки. Много лет она безуспешно пыталась завязать с ней разговор, наконец сдавшись, но ее утешала мысль, что, подобно старым деревьям, няня Реха жива и, возможно, будет существовать вечно. «А сегодня? Видела ли я ее кресло сегодня?»

Она обернулась.

- Что-то забыли, донья Пола?
- Ты видел няню Реху, Мартин?
- Конечно. Она в своем кресле.
- Ты уверен?
- А где ей еще быть? – удивился Мартин, поспешно зашагав за Полой.

Они обнаружили, что кресло тихонько покачивалось, хотя няни Рехи в нем нет. Обеспокоенные, они вернулись в ком-

нату, которую няни делили друг с другом. Но Рехи не оказалось и там.

— Мартин, сбегай спроси у батраков, не видели ли они няню Реху. И по дороге тоже посматривай по сторонам. А я предупрежу сеньору.

Беатрис всегда вставала поздно. Она просыпалась в уверенности, что дела уже идут полным ходом: хлеб и кофе ждут на столе, сады поливаются, выстиранное белье гладится. Она любила начинать свой день, нежась в постели и смутно различая сквозь сон, как муж умывается, а затем, проснувшись и все еще кутаясь в простыни, брать четки и спокойно молиться. Но в тот день в доме Моралесов не было ни омовений, ни четок, ни молитв.

Я родился среди каменной кладки, деревянных балок и беленых стен много лет назад – не важно, когда именно. Важно то, что, покинув утробу Беатрис Моралес-Кортес, первое, с чем я столкнулся, были чистые простыни на ее постели, потому что мне посчастливилось родиться во вторник вечером, а не в понедельник. С незапамятных времен женщины ее семейства меняли простыни именно во вторник, как делают все приличные люди. В тот вторник простыни благоухали лавандой и солнцем. Неужели я все это помню? Нет, вряд ли, но отлично себе представляю. За годы, прожитые в нашем доме, мама никогда не меняла распорядок и обычаи, она все делала как заведено: по вторникам застилали льняные простыни, которые днем раньше стирали с отбеливателем, сбрызгивали лавандовой водой, высушивали на солнце и, наконец, гладили.

Так было каждый вторник, за исключением того странного и непростого дня, которому вот-вот предстоит настать. Это был день моего появления на свет. Мой день рождения ничем не отличался от любого другого вторника, поэтому я твердо знаю, чем пахли простыни в ту ночь и как ощущались на коже.

Пусть я этого и не помню, но в день, когда я родился, дом наверняка пах тем, чем ему предстояло пахнуть вечно. Его

пористые кирпичи, подобно губке, впитали славные запахи трех поколений трудолюбивых мужчин и чистоплотных женщин с их маслами и мылом; он пропитался запахом семейных рецептов и бельем, прокипяченным в мыльном растворе. В воздухе неизменно витали ароматы сладостей из молока и ореха пекан, которые готовила бабушка, ее варенья и мармелада, тимьяна и душистой мари, что росли в выставленных в сад горшках, а также апельсинов, цветов и меда.

Также частью дома были смех и детские игры, ругань и удары дверей, которыми хлопали как сейчас, так и раньше. Расшатанная плитка, на которую ступали босые ноги моего деда и его двадцати двух сестер и братьев, затем моего отца, когда тот был ребенком, и, наконец, мои собственные, когда я был ребенком. Эта плитка выдавала нас с головой, потому что раскрывала матери все наши хитроумные ночные планы. Балки дома кряхтели без какой-либо видимой причины, двери скрипели, ставни ритмично бились о стену, даже если ветра не было. Снаружи гудели пчелы, а цикады в летние вечера оглушали нас своим неумолчным безумным стрекотанием незадолго до наступления сумерек, как раз когда я был увлечен последним своим приключением дня. Стоило солнцу скрыться за горизонт, сперва заводила одна, ей вторили остальные, а затем все внезапно умолкали, видимо испугавшись надвигающейся темноты.

Дом, где я родился, был живым. Когда посреди зимы он вдруг начинал благоухать флердоранжем или глухой ночью

в нем слышалось хихиканье, неизвестно кому принадлежащее, никто не пугался и не удивлялся: они были частью дома. «В нашем доме нет призраков, – повторял мне отец, – это лишь отголоски прошлого, которые хранит дом, чтобы напомнить нам о тех, кто жил здесь до нас». Я его понимал. Мне представлялись двадцать два брата и сестры моего деда, шум, производимый ими, и казалось вполне логичным, что годы спустя в уголках дома нет-нет да и слышался их смех.

Полагаю, годы, проведенные мной в этом доме, оставили мое эхо – не зря же мама порой просила: «Тсс, малыш, ты как цикада». Да и дом оставил во мне свои отголоски. Я все еще их различаю. Уверен, что в глубине моих клеток обитают мама и папа, а также лаванда, цветы апельсиновых деревьев, материнские простыни, осторожные шажки бабушки, запах жареных орехов пекан, предательская плитка, загустеваящая карамель, убежавшее молоко, безумные цикады, запах старого дерева и полированные глиняные полы. Частью меня стали апельсины – зеленые, сладкие и гнилые, апельсиновый мед и маточное молочко. Частью меня стало все, что вызывало во мне чувства, и я до сих пор бережно храню эти воспоминания.

Если бы я только мог вернуться, чтобы увидеть дом и почувствовать его вновь, я бы непременно это сделал. Но я стар, и поэтому мне нужны вы, молодой человек. Дети, а сейчас и мои внуки принимают решения за меня. Вот уже год мне не позволяют водить машину и платить по счетам. Со

мной говорят так, словно я плохо слышу или ничего не понимаю. Я все отлично слышу, но, если честно, не слушаю. Просто потому, что не хочу. Да, мои глаза видят хуже, чем прежде, руки дрожат, ноги устают, а терпение быстро иссякает, когда меня навещают внуки и правнуки, но, хотя я стар, я все еще в здравом уме. Я знаю, какой сейчас день на дворе, и представляю возмутительную стоимость той или иной вещи; мне это не нравится, но нельзя сказать, что я не знаю об этом. Я прекрасно осознаю, во сколько мне обойдется подобное путешествие.

Я не болтаю сам с собой, как другие старики, и не вижу ничего такого, чего на самом деле не существует. По крайней мере, пока. Отличаю воспоминания от реальности, несмотря на то что с каждым днем воспоминания мне становятся куда милее, чем реальность. Я перебираю в памяти, кто что сказал, кто на ком женился или вышел замуж, что происходило раньше, а что позже. Я вновь и вновь переживаю сладкое чувство, охватывавшее меня всякий раз, когда я прятался в высоких ветвях ореха пекан, протягивал руку, срывал орех и вскрывал его лучшими щипцами, какие только могут быть, – собственными зубами. Я слышу, вдыхаю и чувствую вещи, которые, пробиваясь из глубины памяти, живы во мне сегодня, как и вчера.

Если кто-то чистит апельсин рядом со мной, его аромат тотчас переносит меня в мамину кухню или папин сад. Ма-

газинные бутылки из-под кахеты⁴ напоминают мне неутомимые руки моей бабушки, которая часами мешала сахар в молоке, булькающем на плите, чтобы оно загустело, но не подгорело.

Стрекот цикад и жужжание пчел, которых редко теперь услышишь в городе, переносят меня в детство, хотя бегать я уже не могу. Обоняние все еще ищет запах лаванды и даже улавливает его, пусть и иллюзорный. Закрывая ночью глаза, я слышу стук предательской плитки, скрип балок и грохот ставней, несмотря на то что в моем нынешнем доме нет ни расшатанных плиток, ни балок, ни ставней. Я будто снова в доме своего детства. В доме, который я покинул слишком рано. Я чувствую, что он навеки со мной, и это приятно.

Итак, юноша, я должен о многом вам рассказать, включая то, что случилось еще до моего появления в этом доме.

⁴ Кахета (или дульсе де лече) – крем-карамель из сгущенного козьего молока с сахаром.

Беатрис Кортес-Моралес навсегда запомнила то октябрьское утро 1910 года. Кто-то настойчиво забарабанил в дверь, и, решив, что горит одно из полей сахарного тростника, Беатрис покинула теплую постель и спешно открыла. Перед ней стояла плачущая Пола: няня Реха пропала. А в постели ее нет? Нет. А в кресле-качалке? Тоже нет. Куда же могла пропасть старушка – божий одуванчик? Скорее всего, умерла и лежит где-нибудь в кустах.

Беатрис знала няню Реху всю свою жизнь: будучи соседями в течение нескольких поколений, Моралесы и Кортесы навещали друг друга в гости из асьенды в асьенду. Несмотря на то что они были знакомы всю жизнь, влюбилась она в того, кто впоследствии стал ее мужем, в шестнадцать лет, когда Франсиско Моралес вернулся из университета Нотр-Дама, где изучал жилищное строительство, и пригласил ее на медленный танец во время празднования Великой субботы. Когда свекор скончался и Франсиско унаследовал всю его собственность, Беатрис разделила вместе с ним ответственность за поместье и его обитателей, включая исчезнувшую старуху.

Моралесы привлекли всех батраков: одни на всякий случай отправились в город, другие принялись обшаривать окрестные заросли.

– А что, если ее унес медведь?

– Тогда мы бы нашли хоть какие-то следы.

– Куда она могла отправиться, если уже тридцать лет сидит на одном месте?

На этот вопрос ответа не было. Они должны были ее разыскать, живую или мертвую. Пока Франсиско организовывал поиски верхом на коне, Беатрис уселась в осиротевшее кресло кормилицы, которое жалобно скрипнуло под тяжестью ее тела. Ей показалось, что это лучшее место, чтобы дожидаться новостей, однако вскоре попросила Лупиту, прачку, принести ей стул. Но, как она ни старалась, ей не удалось удобно устроиться в кресле, которому были чужды контуры ее тела.

На этом стуле она провела бесконечные часы рядом с креслом няни Рехи, что качалось само по себе, побуждаемое ветром, дувшим с гор, а может быть, по привычке. Мати, кухарка, принесла завтрак, но аппетита у Беатрис не было. Она напряженно всматривалась в даль, пытаясь различить какое-нибудь движение. Некое волнение на полях или в дикой, нетронутой красоте гор.

С этого места открывался живописный вид на горы и тростниковые поля. Беатрис ни разу не видела сьерру с этой точки и теперь поняла, почему пейзаж так очаровал няню Реху. Но что она хотела увидеть в этих горных склонах? Кого высматривала на грунтовой дороге, петлявшей среди них? Да и зачем туда смотреть, если глаза ее были закрыты? Чего

ждала няня Реха?

Ожидая новостей, Беатрис, женщина практического ума, постепенно пришла к выводу, что нянюку вряд ли найдут живой. А раз так, она принялась обдумывать поминки: старуху укутают в белый льняной саван и похоронят в дорогом деревянном гробу, за которым она уже послала. Мессу отслужит отец Педро, на похороны соберется весь город – как-никак скончалась самая старая женщина в здешних краях. Конечно же, все это случится лишь в том случае, если тело найдут. Разве возможно погребение усопшего без усопшего?

Она задумалась, как поступить с креслом-качалкой, но в голову не приходило ничего дельного. Можно сжечь его или измельчить в опилки и раскидать их по саду. Или положить эти опилки в гроб вместе с умершей. Или оставить кресло на прежнем месте в память о теле, которое занимало его столь долго. Было бы кощунством отдать этот предмет, служивший продолжением няни Рехи, кому-то другому.

Беатрис внимательно оглядела старинное кресло, которое прежде никогда не видела пустым. Его ни разу не чинили и не делали ничего, чтобы оно служило подольше, но оно до сих пор было целехонько. Качаясь, кресло чуть слышно поскрипывало, но казалось, время и непогода над ним не властны, как и над его владелицей. Словно был некий симбиоз между хозяйкой и ее креслом, и сеньора Моралес подумала, что, пока существует одна, будет существовать и другое.

С тревогой Беатрис заметила, что кто-то бежит по дороге

через плантацию сахарного тростника.

– Что случилось, Мартин? Нашли?

– Да, сеньора. Сеньор Франсиско отправил меня за повозкой.

Беатрис наблюдала, как он спешно удаляется на поиски повозки. «Значит, тело нашли», – подумала она и, несмотря на практический ум, ощутила глубокую печаль. Няня Реха была очень стара, и было ясно, что она скоро умрет. Но Беатрис хотелось, чтобы старуха отошла как-то иначе: в мире, в собственной постели или, покачиваемая ветерком, в любимом кресле-качалке. А не одна-одинешенька, возможно пострадав от зубов дикого зверя, и, очевидно, испуганная, на дороге, терявшейся среди гор. Какая несправедливость – прожить такую долгую жизнь, чтобы закончить ее так печально. Наконец, прогнав грустные мысли, Беатрис поднялась: предстояло многое сделать, пока батраки не вернулись с телом.

Когда же вдали показалась повозка, стало очевидно: все ее планы и печальные приготовления были напрасны: вопреки опасениям, няня вернулась живой.

Чуть позже Франсиско, ее супруг, расскажет, как пеоны нашли старуху в полутора лигах от дома и вернулись к нему расстроенные: та отказалась отвечать на их вопросы и двигаться с места. Тогда-то Франсиско и послал за повозкой, а чуть позже лично отправился к месту, где нашли няню Реху. Старуха с закрытыми глазами сидела на камне в тени оливы, легонько покачиваясь из стороны в сторону. В руках она держала два свертка: один предмет был укутан в передник, другой в шаль. Франсиско приблизился к ней осторожно, чтобы не испугать.

– Няня Реха, это я, Франсиско, – ласково произнес он, когда старуха открыла глаза. – Что ты делаешь так далеко от дома? – спросил он, не надеясь на ответ, потому что старуха вот уже много лет не разговаривала.

– Я пошла за ним, – тихо ответила она хриплым с непривычки голосом.

– За кем?

– За плакавшим ребенком.

– Няня, здесь нет детей, – ответил он.

Вместо ответа Реха протянула Франсиско оба свертка.

– Что это?

Первым Франсиско взял предмет, завязанный в фартук. Развернув его, он испуганно отшатнулся. Внутри был улей

диких пчел.

– Где ты это взяла? Они тебя не укусили?

Он выронил сверток. Рассерженные пчелы тотчас вылезли из сот в поисках нарушителя их спокойствия. Пеоны отбежали подальше, насекомые метнулись за ними, но через несколько метров внезапно отстали и, обиженно жужжа, вернулись к улью, словно тот неслышно позвал их назад. Второй сверток, который няня Реха все еще держала в руках, заворочался. Франсиско и работники, поборовшие искушение броситься врассыпную после нападения пчел, ошеломленно застыли. Старуха прижимала сверток к груди и легонько покачивала.

– Няня, что там еще у тебя?

В этот миг то, что находилось в свертке, запищало и стало яростно извиваться в руках старой няни.

– Он проголодался, – объявила она.

– Покажи мне его.

Она развернула шаль, и Франсиско и его люди наконец увидели, что держала в руках няня, – младенца. Ужас заставил их отпрянуть. Некоторые перекрестились.

Я никогда не тешил себя наивными иллюзиями насчет того, откуда берутся дети. Всегда знал, что сказочка про аиста, приносящего младенцев, была не более чем выдумкой для слишком любопытных детей. Мама никогда меня не обманывала, как это делали множество сеньор ее эпохи. Если я закатывал истерику, она говорила, как долго и мучительно меня рожала; если не слушался, упрекала родовыми муками. Казалось, каждая моя шалость оценивалась в одну из ее схваток.

Мама была доброй женщиной. Честное слово. Иначе не объяснишь, как я получился. Я не имею в виду мое появление в физическом смысле: она была умной и, несмотря на то что жила во времена всеобщей сдержанности и скромности, понимала, что итогом супружеской близости являются дети. Проблема состояла в другом: она была уверена, что ее детородный возраст закончился, ведь обе мои сестры к тому времени были замужем и успели осчастливить ее внуками. Мое позднее появление застало ее врасплох.

Учитывая это, несложно понять, почему мама так всполошилась, узнав в свои почтенные тридцать девять о беременности. Могу себе представить ее мучительную неловкость, когда она призналась в своем положении двум моим старшим сестрам. Тем более своим подружкам из линаресского

казино⁵. Представляю себе ее отчаяние, когда вслед за двумя барышнями в лентах и кружевах в доме появился сорванец, вечно покрытый грязью и нередко вшивый, к тому же обожающий бурых жаб.

Так что родился я у мамы в то время, когда она уже чувствовала призвание нянчить внуков. Она очень меня любила, и я ее очень любил, тем не менее у нас не все было гладко. Помню, отказавшись от идеи прикрыть мою наготу воланами и бантами, она приняла решение одевать меня как испанского графа, в костюмчики, которые мастерила сама, а подобному образу я не соответствовал ни в коей мере. Да и испанского во мне ровным счетом ничего не было, как ни старалась мама наряжать меня в вышитые костюмчики, заимствованные из последних журналов мадридской моды.

К ее ужасу, я вечно ходил перепачканный какой-нибудь едой, глиной, собачьим, коровьим или лошадиным дерьмом. Коленки вечно покрыты ссадинами, светлые волосы свалились в колтун и потемнели от грязи. Меня несколько не смущали сопли, вытекающие из носа. Носовой платок с вышитыми инициалами, который мама ежедневно клала мне в карман, служил для чего угодно, только не для вытирания соплей. Я такого не помню, но рассказывали, что вместо говьяжьей и куриной печени, которую по распоряжению мамы, убежденной, что от печени розовеют щеки, готовили мне

⁵ Casino – так называли социальные клубы для знатных семейств; за пребывание в них члены платили ежегодный взнос.

няньки, я предпочитал есть жуков.

Сейчас, будучи отцом, дедушкой и прадедушкой, я признаю, что был не самым простым в обращении ребенком. Повлиять на меня было невозможно. Мама всю жизнь жаловалась, что с тех пор, как я научился говорить, моими любимыми словами были «нет», «я сам» и «это нечестно»; что, едва научившись ходить, я уже бегал; что, наловчившись ускользать от внимания взрослых, взбирался на каждое дерево, попадавшему мне на глаза. Коротко говоря, она со мной не справлялась. Мама чувствовала себя слишком старой и полагала, что полностью выложились с двумя старшими дочерьми, которые получились практически идеальными.

Она утверждала, что отрада для глаз у нее уже есть, поскольку моя старшая сестра Кармен – следует это признать – была красавицей. Когда она была маленькая, мама завивала ее светлые волосы и радовалась, когда люди говорили, что ее дочь ангел, куколка и просто прелесть. Повзрослев, Кармен разбила сердца половине города – когда отправилась учиться в Монтеррей, а затем когда вышла замуж. Сестра стыдилась легенд о своей красоте, до сих пор сохранившихся в перелучах Линареса. Моя мама долгие годы хранила бесчисленные письма с обещаниями вечной любви и стихами от всех безответных поклонников, которые Кармен получила до и после замужества. Можно было подумать, что стихи предназначались маме – столь бережно хранила она эту кипу бумаги, словно боевые трофеи, к тому же хвасталась ими при

первой возможности.

Говорила мама и о том, что у нее есть отрада для ушей, потому что вторая моя сестра, также красавица, отличалась замечательным голосом. Мама заставляла Консуэло петь каждому, кто являлся в наш дом, и ее нежный голос неизменно получал комплименты. «Ангельский голосок!» – восхищались гости. Ни разу не слышал, как поют ангелы, но полагаю, они были правы: у моей сестры в самом деле был ангельский голос. Мало кто знал, что за этим голосом скрывается дьявольский характер. Даже в моменты злости голос был мелодичным и сладким и в каждой фразе звучала чистейшая поэзия. Она говорила: «Не подходи ко мне, вшивый сопляк, ты отвратителен», но для мамы ее голос все равно оставался ангельским. Всякий раз, когда мама спрашивала, что такое Консуэло шепчет мне на ушко, та отвечала: «Я рассказываю ему сказки».

Я был одним из немногих, кто оставался невосприимчивым к ее чарам. Мама не понимала, почему я не бежал к сестре сломя голову, когда она приезжала нас навестить. Не понимала, почему держусь от нее подальше, а когда меня отправляют в Монтеррей, предпочитаю останавливаться у Кармен, старшей сестры. «Консуэло такая добрая, такая очаровательная, такая славная», – говорила мне мама, стараясь хоть как-то смягчить или улучшить наши отношения.

Таким образом, в семье было два ангела и мальчик, то есть я. Когда мама обо мне рассказывала, она повторяла, буд-

то оправдываясь: «Что делать, мальчишка есть мальчишка». Или: «Ведь он еще маленький». И никогда не говорила, что я ребенок ее мечты. Она не осмеливалась сказать такое, или же эта мысль попросту не приходила ей в голову. «О господи!» – повторяла она все время. Не помню, сталкивался ли я с мамой в коридорах нашего дома, во дворе, столовой или на кухне, чтобы она тяжело не вздохнула в ответ. «О господи! – причитала она, глубоко вздохнув. – Только посмотрите на эти лохмы, эти сопли, эту одежду. До чего он чумазый, грубый, шумный. Я уже слишком стара для такого, о господи!» Со временем ее причитания становились более краткими. Сперва она говорила: «О господи!», потом отделялась одним лишь «Ох!», а в итоге остался лишь тяжелый вздох.

Да, я все время шумел, и голос у меня был грубым и пронзительным. Мое тело служило надежным прибежищем для всякого клеща, блохи или вши, нуждавшихся в приюте и пропитании, поэтому мамина попытка отрастить мне светлые локоны закончилась провалом. Я ходил стриженный под ноль. Как в детском доме. «О господи!» – вздыхала мама.

Если бы она занималась лишь мной одним, ей бы, вероятно, удалось отрастить мне локоны шелковистее, чем у сестер. Обстоятельства спасли меня от этой сомнительной затеи: отец, который к моменту моего появления на свет должен был стать дедом и смирился с тем, что обрабатываемые им земли в итоге достанутся зятьям, не позволил, чтобы его единственный, хоть и поздний сын превратился в ханжу и

белоручку. Он не занимался воспитанием старших дочерей, но когда в семье родился сын, принялся возражать матери по поводу всего, что касалось моего воспитания. Он видел, что в наших краях и в наше время нет места неженкам. Так или иначе, кругом шла война, иной раз заглядывая и к нам.

Споры с отцом испугали мою маму. Она боготворила его, что было весьма странным для женщины – бабушки! – сорока лет, поэтому приняла решение ради мира в семье уступить отцу мое воспитание. Отец же, всецело настроенный воспитать сына настоящим мужчиной, не имел для этого ни времени, ни сноровки – сначала потому, что не знал, что делать с младенцем, затем потому, что целыми днями присматривал за пастбищами в Тамаулипасе и защищал плантации в Нуэво-Леоне.

Несмотря на все это, в доме было множество надежных рук, чтобы обо мне позаботиться. Моя няня Пола оставляла меня с кухаркой Мати, которая препоручала меня кухарке Лупите, та просила присмотреть за мной садовника Мартина, который вскоре оставлял меня на попечение Симонопио, который ухаживал за мной, а заодно, как мог, развлекал. Последнему некому было меня подкинуть, и он оставался со мной, пока не стемнеет и кто-нибудь не выйдет из дома и не окликнет меня.

В ту пору я еще не родился, но поверьте, молодой человек, приход в нашу семью Симонопио стал судьбоносным событием. Позже он превратился в стража на границе между жизнью и смертью, но мы это поняли лишь со временем, оглянувшись назад, в далекое прошлое.

Всю оставшуюся жизнь отец укорял себя за то, как он отреагировал, впервые увидев Симонопио. Думаю, хоть он был очень образованным и много путешествовал, ему так и не удалось до конца избавиться от суеверий, гулявших по городу, неподалеку от которого располагался целый поселок ведьм. К тому же происшествия того дня выбили его из колеи: пустое кресло-качалка, пропавшая нянька, уверенность, что она умерла, поиски в окрестных кустах, уводящие все дальше от дома. Затем неожиданная находка, внезапно заговорившая няня, воинственный рой пчел из улья, завернутого в передник; новорожденный ребенок с изуродованным лицом, завернутый в нянину шаль и укрытый живым одеялом пчел.

Что же касается первых впечатлений, чаще всего самых точных и важных, Симонопио, которого со временем окрестили так по настоянию няни и вопреки возражениям родителей и священника, производил не самое лучшее впечатление. Батраки умоляли хозяина оставить чудище под оливой,

на обочине дороги.

– Это Божья воля, сеньор, потому что ребенок этот – дитя дьявола, – настаивал Ансельмо Эспирикуэта.

К этому времени отец уже пришел в себя. Вспомнив, что он светский человек, повидавший мир, образованный и просвещенный, он отринул суеверия и сосредоточился на загадке.

– Досужие вымыслы. Мы в такое не верим, Эспирикуэта, – сказал он и продолжил мягко допрашивать няньку.

Из немногих слов, произнесенных старухой, Франсиско выяснил, где именно она нашла ребенка и при каких обстоятельствах. С какой же целью старуха отправилась в горы, дойдя до самого моста, под которым обнаружила младенца, – так никто никогда и не узнал. «Я его слышала, – только и сказала она. – Я слышала». Суеверные или просвещенные, все понимали, что невозможно услышать плач ребенка, брошенного под мостом, когда тебя отделяет от него такое расстояние.

Это была так никем и не разгаданная тайна, которая сделалась еще более удивительной после того, как дон Теодосио и Лупита, молоденькая прачка, проходившие по тому же пути, горячо уверяли, что никакого младенца не видели. Каким образом няня Реха могла его услышать? Ответа на этот вопрос – убедительного, достоверного – не было ни у кого.

– Лично я не слышу, даже когда жена из соседней комнаты зовет меня обедать, – говорил Леокадио, их пеон, каждому,

кто готов был его выслушать.

Но факт остается фактом: недвижимая старуха, этот всеми забытый обрубок дерева, покинула свой крошечный мир, отправившись на помощь младенцу, а затем несла его со всем скарбом, включая крылатых друзей.

Когда отец собирался стряхнуть пчел, полностью покрывавших тело новорожденного, Реха не позволила ему этого сделать.

– Оставь их в покое, мальчик, – сказала она, вновь закутывая ребенка.

– Но няня, пчелы его ужалят!

– Они бы это уже сделали.

В досаде отец приказал пеонам усадить няню Реху в повозку, но та крепко вцепилась в свою ношу, испугавшись, что у нее отнимут младенца и исполнят свои угрозы – оставят сверток там, где она его подобрала.

– Он мой.

– Он твой, няня, – заверил его отец. – И он поедет с нами.

– И пчелы тоже.

Отец неохотно, с большой осторожностью завернул улей в передник и положил на повозку. И лишь затем они отправились к дому и пустому креслу-качалке.

На самом деле Франсиско Моралес отнюдь не испытывал той уверенности, с которой ответил няне. Ребенок поедет с нами, заявил он. Да, но зачем? Что будет он делать с младенцем, который появился на свет со зловещей печатью? Оставить его под мостом тоже не выход, про это он даже не думал, однако до него доносились тихие разговоры пеонов, в первую очередь Ансельмо Эспирикуэты, нового работника, наотрез отказавшегося сесть в повозку вместе с новорожденным. «А что, если его поцеловал дьявол? А что, если кто-то заключил уговор с нечистой силой? А что, если это демон во плоти или кара небесная?» Одним словом, дикие суеверия. И все же он плохо себе представлял, как ребенок, у которого вместо рта – безобразная дыра, проживет хотя бы день, и не знал, что противопоставить невежественному суеверию пеонов, которые так или иначе будут окружать малыша всю его жизнь.

Он приказал Эспирикуэте свернуть на дорогу, ведущую к городу. С одной стороны, кто-то должен был добраться до доктора Канту и попросить, чтобы тот заехал осмотреть старую няню и несчастного младенца. С другой – ему хотелось, чтобы этот батрак находился подальше от ребенка и остальных, и без того нервной, свиты. Не хватало еще, чтобы этот южанин вкладывал в головы других свои апокалиптические

пророчества.

– И хватит уже сплетен про поцелуи дьявола, слышишь ты меня? Бросай свои сказки про ведьм. Нянька нашла младенца, которому нужна помощь, вот и все. Понял, Ансельмо?

– Да, хозяин, – ответил Ансельмо Эспирикуэта, поспешно удаляясь в город.

Добравшись дотуда и повстречав Хуана, точильщика ножей, Ансельмо не удержался от искушения рассказать ему под большим секретом, как он испуган, что старая нянька, да пчелы, да ведьминское отродье – да так и болтал, пересыпая свою речь всевозможными преувеличениями и пророчествами, которые приходили ему в голову.

– Вот увидите, все это плохо кончится.

И как это частенько случается, не успел Ансельмо разыскать врача, а весь Линарес уже знал о несчастном Симонопио и неминуемом проклятии семейства Моралес и всех его потомков.

Доктор Канту, человек серьезный и основательный, немедленно последовал на зов Моралеса, по пути отвечая на вопросы суеверных невежд. К его немалому удивлению, в асьенду он въехал вслед за повозкой, везущей гроб. Досадно – он-то думал, что старуха и младенец еще живы.

Дойдя до дома, он обнаружил старуху на обычном месте – в кресле-качалке, в окружении членов семьи и домашней челяди. Удивительным было одно то, что старуха покинула свой насест. Невозможно было представить, что кто-то в

столь преклонном возрасте отправился куда глаза глядят по крутой дороге и тем более вернулся назад как ни в чем не бывало. Да еще с младенцем, подобранным где-то в горах.

Как бы нелепо все это ни звучало, так рассказывал сам Франсиско Моралес, а значит, доктору ничего не оставалось, кроме как поверить ему.

– А кто умер? – спросил он.

– Да никто, – ответил Франсиско.

– Тогда для кого гроб?

Обернувшись, они увидели Мартина и Леокадио: те снимали тяжеленный гроб с повозки в ожидании дальнейших распоряжений. Доктор был заинтригован, Франсиско остолбенел, а Беатрис засуетилась: надо же, гроб! Она совершенно забыла о приготовлениях к похоронам, начавшихся после исчезновения няньки, когда она приказала Леокадио отправиться в город за гробом. Франсиско взглянул на нее с удивлением.

– Это... – начала она и осеклась. – Это так, на случай необходимости.

Приблизившись к Мартину, Беатрис велела ему укрыть гроб толстым брезентом и спрятать его в сарае, подальше от чужих глаз. Когда она вернулась, доктор Канту попросил позволения осмотреть ребенка.

Прежде чем он приблизился к свертку, который старуха держала на руках, ему протянули кожаные перчатки, принадлежавшие одному из пеонов: «Пчелы, доктор, кружат повсюду».

ду». Отодвинув шаль, доктор наконец понял, о чем толковали пеоны: сотни пчел облепили крошечное тельце ребенка. Он замер, не зная, как прогнать насекомых, не разозлив их, но тут на помощь пришла няня Реха. Канту не понимал, почему она их не боится: может, смуглая кожа старухи огрубела от старости и пчелиное жало не могло ее проткнуть, или же она знала, что пчелы не осмелятся ее укусить. Так или иначе, старуха отважно стряхнула пчел, и те нисколько не возмущались.

Ребенок смотрел, насторожившись. Доктор с удивлением наблюдал, как он проводил взглядом последних пчел, которые вились вокруг него и старухи, а затем послушно залезли обратно в улей, подвешенный кем-то за проволоку к свесу крыши. Он заметил, что незавязанный пупок кровоточит, и поспешно завязал его шовной нитью.

– Этого парня бросили на верную смерть, Моралес. Ему даже не дали шанса выжить – он мог истечь кровью. Мало того, он должен был умереть от кровотечения...

Тем не менее младенец остался жив, несмотря на пупок, из которого сочилась кровь, как из дырявого шланга. Вопреки логике, пчелиных укусов на его тельце видно не было. Дикие звери его не тронули, не умер он и от непогоды. Подобная совокупность факторов лишь усугубляла тайну, которая окружала Симонопио всю его жизнь.

– Мальчик на удивление здоров.

– Но, доктор, взгляните на его рот, – не выдержала Беат-

рис.

Нижняя челюсть младенца была идеальна, но верхняя расходилась от основания носа к уголкам рта. По сути, у него не было ни верхней губы, ни десны, ни верхнего неба.

– Поцелуй дьявола, – пробормотал один из слуг: это снова был Эспирикуэта.

– Ничего подобного, – энергично возразил доктор. – Просто врожденное уродство. Такое иногда случается, как нехватка пальцев или, наоборот, лишние. Печально, но так бывает. Ни разу не встречал подобных случаев на практике, зато читал о них в книгах.

– Это лечится?

– Я читал, что можно сделать операцию, но это сложно и болезненно, лучше оставить как есть.

Значит, мальчик будет уродом.

– Как правило, такие дети долго не живут – не могут сосать грудь и умирают от голода. А если даже каким-то чудом им это удастся, молоко попадает в дыхательные пути, и они захлебываются. Мне жаль. Сомневаюсь, что он протянет больше трех дней.

Прежде чем послать на поиски дойной козы или кормилицы, готовой поделиться своим молоком, Франсиско распорядился позвать отца Педро: если мальчику вскоре суждено умереть, его следовало крестить, чтобы все было по-божески. Козу привели раньше, чем пришел священник, так что няня налила в чашку немного теплого молока и добавила

чутьочку меда, потихоньку вытекавшего из улья. Этой смесью она смочила краешек шали и, выжимая по капле, больше часа кормила младенца, пока тот не уснул.

К тому времени, когда явился священник, вооружившись елеем и святой водой, чтобы крестить и помазать брошенное дитя, мальчик уже проснулся и старательно ловил падавшие в его обезображенный рот сладчайшие белые капли, размазывая их языком по деснам. Его уже помыли, обмотали тонкой пеленкой и одели в белую рубашонку, в которой некогда крестили дочек Моралесов, – Беатрис приказала достать ее из сундука. Поскольку все торопились, боясь, что ребенок вот-вот умрет, церемония началась до окончания кормления, белые капли, стекавшие изо рта, сменились каплями святой воды, и, поддерживаемый с одной стороны старой няней, с другой – Франсиско и Беатрис, Симонопио удостоился таинства во имя спасения души и тела.

В тот день он потерял весь урожай маиса. Тот и так не обещал быть чересчур обильным, но о нем заботились, несмотря на нашествие вредителей. Ради его спасения все забыли про отдых и сон, словно речь шла о здоровье еще одной хозяйской дочери. Франсиско казалось, что он собственными руками огладил каждый початок.

Но все было тщетно. Маис у него отняли, когда миновало нашествие вредителей, когда он был полит как должно, успел созреть и, нежный и сочный, был собран под палящим апрельским солнцем, которое временами жгло хуже июльско-го. Маис отняли, когда все до последнего початка было сложено в деревянные ящики и ожидало своего отправления на ближние и дальние рынки.

«Это для армии», – бросили ему на прощание.

Франсиско Моралес молча смотрел, как повозки, груженные ящиками с маисом, исчезают вдаль, и молча попрощался с надеждами на урожай целого сезона, добытый с таким трудом. «Но ведь это для армии», – с сарказмом нашептывал он про себя, подливая в стакан виски. И не важно, что им на ужин не оставили ни единого початка. Ни единого песо для предстоящих посевов. Да, это для армии. Узнать бы еще, для которой из них.

В этой войне армия на самом деле одна, размышлял он,

просто то и дело появляются разные ее части, как в той русской деревянной кукле, формой напоминающей кеглю, которую приятель показывал ему еще в университете. «Это матрешка, – сказал тот русский. – Открой крышку». Франсиско обратил внимание, что поперек туловища матрешки виднеется едва заметная щель. Он подцепил ее ногтем и открыл. Внутри, к его удивлению, обнаружилась еще одна матрешка, точно такая же. Внутри второй помещались другие, все меньше и меньше, – всего он насчитал десять.

Так же и с армией – армиями – этой революции: после одной появлялась другая, затем еще одна и еще, все были одинаковыми, все были равно убеждены, что именно они и есть национальная армия, а значит, имеют полное право забирать себе все что заблагорассудится. Кого угодно убивать. Объявлять предателями родины. И всякий раз, когда очередная армия проходила по его землям, Франсиско казалось, что, подобно той русской матрешке, они мельчают, не столько числом, сколько верой, идеалами и чувством справедливости. А заодно и гуманностью.

Этот урожай был меньшим из того, что у них украла война. Главное, они потеряли отца Беатрис. Один из этих отрядов застиг его на дороге в Монтеррей и обвинил в предательстве за то, что он накормил ужином генерала Фелипе Анхелеса, своего друга юности, с некоторых пор нового – правда, довольно недолговечного – губернатора провинции, а заодно врага свергнутого президента Каррансы.

Война отняла у них мир, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и чувство безопасности. По Линаресу разгуливали разбойники, которые убивали и грабили. А заодно утаскивали с собой каждую юбку, встреченную на пути. Дурнушки и красавицы, старухи и молодые, богачки и нищие – этим негодяям было все равно. У Франсиско не укладывалось в голову, как возможны подобные вещи в современном мире. Он пришел к выводу, что в войне испаряется даже сама современность.

Его дочери выросли: они были юными, красивыми и богатыми. Опасаясь, что в один прекрасный день очередь дойдет и до них, Франсиско и его жена решили отдать их на попечение монахиням. Дочерей отправили в Монтеррей, но родителям казалось, что они потеряны для них навсегда.

Исчезали мужчины, которым не удавалось укрыться от очередной проходящей мимо армии: не давая никаких объяснений и ни о чем не спрашивая, их уводили на войну. Так Франсиско потерял двух своих пеонов; забыть это было непросто, потому что каждого из них он знал с детства.

Его – точнее, таких, как он, – призыв не касался. Известность и богатство в 1917 году по-прежнему что-то значили. Война не нуждалась в его плоти в качестве еще одного щита, но она все время была рядом, подмигивала ему и грозила не только потерей всего маиса – в конце концов, надолго бы маиса все равно не хватило, он бы не удовлетворил ненасытный голод, сметающий все на своем пути.

Теперь этим армиям требовалась земля – такая, как его асьенда и плантации. Земля и свобода. Все боролись за одно и то же, и ему – таким, как он, – негде было укрыться от перекрестного огня. Единственное, что сулила ему аграрная реформа, за которую ратовали все армии, была потеря земли; декрет означал изъятие земель в пользу кого-то, кто их возжелал, но ни разу на них не потел и ничего про них не знал. От земли придется смиренно отказаться, когда неизвестный постучит в дверь, – так же как в тот день он отказался от урожая маиса: молча, без лишних слов. В противном случае его ожидала смерть. Вот почему он не возражал, когда забирали маис. Даже его имя не помогло бы ему избежать пули в лоб. Не имело смысла умирать ради маиса. Он любил землю, унаследованную от предков, но кое-что он любил больше: свою жизнь и свою семью. В отчаянии он спрашивал себя: позволит ли он отобрать у себя землю с такой же готовностью, с какой разрешил забрать урожай?

Единственное, что он успел сделать для своей земли, – распорядиться ею по своему усмотрению, а именно – переписать часть наделов на доверенных друзей. Но этих мер было недостаточно. Не существовало законного способа зарегистрировать оставшиеся земли на имя Беатрис или дочек, поэтому крупным наделам все еще грозила экспроприация. Теперь он сидел у себя в кабинете, потягивая виски, – он позволял себе обычно не больше рюмки, однако в тот день взялся за него раньше, чем всегда.

– Франсиско?

Вряд ли Беатрис пришли бы по душе его оправдания – мол, я решил напиться, потому что все потерял или скоро потеряю, если немедленно не найду выхода. Есть ли способ защититься от узаконенного ограбления?

– ...Так вот, Ансельмо хочет вылить мыло...

А он продолжит пить свой виски. Всего одну рюмку. Как привык. Он насладится им сполна, пусть и понимает, что виски вряд ли даст ответ. Затем встанет и отправится на прогулку по сахарным плантациям. Каждый шаг будет даваться ему с трудом. Если бы он мог, он погладил бы каждый стебель: тростник был единственным средством, чтобы не разориться.

– ...В соты Симонопио.

– Чего?

– Ты хотел сказать, «повтори, пожалуйста, я не расслышал»? Разве не так воспитывала тебя мама? О чем ты думаешь?

Устав от груза ответственности и неуверенности во всем и услышав упрек в голосе жены, Франсиско тоже спросил себя: о чем он думает? Почему истратил столько времени, сидя за столом? Почему в этот вечер ему хватает сил только на виски. И вообще, не лучше ли отправиться в Монтеррей и купить там недвижимость? Наслаждаться общением с дочерьми, пока они еще юны. Помимо урожая, война украла у него время. Он хотел бы куда больше заниматься женой

и дочерьми, больше времени посвящать Симонопио, этому мальчику, который появился в их жизни.

С удивлением он понял, что сегодня время есть. В этот день война, содрав с него стопроцентный налог в виде маиса, лишила его всех запланированных дел. Взамен же оставила время. Она подарила ему странный день, когда он впервые ничем не был занят. У него не было ни маиса, который надо было защищать, ни товара, который следовало получать и отправлять. Значит, ему не на что жаловаться. Сегодня он не станет тратить время ни на войну, ни на реформу. Ни на отнятый у него маис. Пусть виски дожидается привычного часа. А тростник подождет, когда у него появится желание погулять по плантациям. Он использует время иначе.

– Франсиско, я с тобой разговариваю!

– Прости меня, – сказал он, поставив на стол недопитый виски, а потом улыбнулся и обнял жену так, как позволял себе лишь наедине.

– Франсиско...

– К вашим услугам, мэм.

– Хватит дурачиться! Я говорю, Ансельмо хочет вылить мыло в соты, чтобы убить пчел. Говорит, это посланницы дьявола, и прочие глупости. Болтает и болтает разную чепуху.

– Скажи ему, что ты не разрешаешь.

– Сказала! Думаешь, он меня слушает? Нет конечно! Иди к нему сам. Няне Рехе пришлось пригрозить ему палкой.

Она в бешенстве. Даже глаза открыла!

– А Симонопио?

– Симонопио всегда исчезает, когда является Ансельмо. Ума не приложу, где он прячется.

Ни годы, ни бесконечные разговоры не заставили Ансельмо Эспирикуэту отказаться от своих суеверий, огорченно подумал Франсиско. Он покосился на виски. Затем посмотрел на жену, с сожалением подумав про возню, которую они прервали, едва начав. Война и земля не оставили ему времени для Симонопио, но сегодня он наконец им займется. Он защитит пчел ради него, потому что это пчелы Симонопио, они пришли в этот дом вместе с ним. И хотя в доме всегда находились руки, чтобы ухаживать за Симонопио, к тому же за ним присматривали крестные, во время бесконечных разъездов верхом с ранчо на ранчо Франсиско преследовала мысль, что пчелы – главные опекуны мальчика. Убить пчел означало убить часть его самого. Все равно что сделать его сиротой.

Несмотря на то что пчелы постепенно освоили потолок нянькиного сарая, так что никто уже не осмеливался туда войти, чтобы по привычке бросить какой-нибудь скарб, – они ни разу никого не укусили. Большинство обитателей усадьбы давно привыкли к тому, что вокруг ребенка выются пчелы. Казалось, их занимает только Симонопио, а его занимают только они. Наверное, жизнь бок о бок с пчелами была по-своему сложна. Но что бы он делал без них? Они при-

были вместе с мальчиком. Значит, на то были причины. Их надо оставить в покое.

– Идем.

Итак, сегодняшний день следовало посвятить Симонопио. Ему и его пчелам. А в другой день он найдет способ защитить свои земли.

У ног няни Рехи, под пчелиными ульями, облепившими потолок, Симонопио научился фокусировать зрение и следить за ними взглядом. Даже когда они сбивались в рой, он еще в раннем детстве знал каждую по отдельности. Рано утром провожал их в путь и весь день до вечера ждал, пока они не вернутся. Он научился выстраивать свою жизнь с учетом пчелиного расписания и очень рано стал покидать матрас, куда его укладывали в дневное время, – чтобы выйти из сарая и побродить по саду в поисках своих неутомимых компаньонов.

Реха, вернувшаяся к своей деревянной неподвижности, молча, но зорко присматривала за ребенком. Она больше не кормила Симонопио, но всем дала понять, что пчелиного мальчика следует вскармливать козьим молоком и медом сначала с помощью тряпки, затем из ложки и, наконец, из чашки. С первых же дней она не позволяла никому приближаться к ребенку, опасаясь, что имеющий злые намерения причинит ему вред, а добрые – может залить его, вскармливая, как обычное дитя. Приближаться к ребенку разрешалось только Беатрис, няне Поле и прачке Лупите.

Первой няня ни за что бы не позволила его кормить. Беатрис вечно торопилась, чтобы поспеть сразу во все места: если она не присматривала за домом и дочерьми, значит, прини-

мала участие в светских мероприятиях в своем казино. Кроме того, Реха понимала, что стоит дать слабину, как Беатрис примется делать из Симонопио книжного ребенка. Симонопио не годился для этой роли: он был дитя земли, дитя гор. Ему предназначалось читать страницы самой жизни, нежели книги. Когда Беатрис желала взглянуть на ребенка или взять его на руки, она отправлялась прямым ходом к нянинному креслу-качалке.

Пола была стара и терпелива, а в Лупите, еще юной, Реха прозревала доброту, позволявшую девушке не замечать безобразную дыру на лице Симонопио. Они вдвоем кормили ребенка, неспешно вливая ему в рот все до последней капли. Так или иначе, няня Пола и Лупита ни за что не обидели бы Симонопио ни из добрых, ни из злых побуждений.

Но никто не чувствовал особого желания к нему приблизиться, в то время как сам Симонопио, обретя подвижность, свойственную обычному ребенку, с готовностью и подобием улыбки устремлялся навстречу нечастым посетителям. Домашние слуги Моралесов со временем перестали пугаться, увидев обезображенное лицо ребенка, и все чаще проявляли нежность и участие, так что уже и не замечали уродства, отметившего детское личико. Слуги подзывали мальчика к себе и с восторгом подхватывали на руки, потому что его кроткое общество как нельзя больше подходило для повседневных домашних хлопот.

С течением лет стало очевидно: несмотря на то что Си-

монопио выжил и с успехом освоил искусство приема пищи, с общением у него дела обстояли куда сложнее. Согласно, произносимым с помощью кончика языка, которых в речи великое множество, не удавалось пробиться на волю из черной пещеры его рта. И хотя он кое-как научился произносить отдельные звуки, для которых был необходим корень языка, – мягкую «эне», «ка», «хе», «хота» и «ку», помимо «аче», которая вообще не произносится, а также все гласные звуки, – терпение его собеседников имело пределы. Сами-то они могли говорить обо всем на свете, однако им было сложно выслушивать шум и бульканье, издаваемые маленьким Симонопио, пытавшимся воспроизвести речь взрослых, и подобие слов, которые он безуспешно из себя выдавливал. Ничего не разобрав, некоторые приходили к мысли, что, к величайшему сожалению, ребенок не только обезображен физически, но и слабоумен, а значит, обращенную к нему речь не понимает. Как же они ошибались!

Симонопио очень хотелось бы повторить скороговорку, которой его тщетно пыталась обучить Лупита, хотя «Белые бараны били в барабаны, без разбора били – лбы себе разбили» была за пределами его возможностей. Прочесть наизусть стишок о траве, на которой рубят дрова, и о Кларе, у которой Карл украл кораллы. А еще ему хотелось поговорить о пчелах и спросить у потенциального собеседника: почему ты не слышишь их, говорят ли они с тобой так же, как и со мной? Если бы он только мог, то рассказал бы о пчелиной песне, о

горных цветах, о неведомых тропинках и тех пчелах, которые не вынесли долгого обратного пути; о солнце, сегодня жарившем в полную силу, а на другой день укрывшемся за низкими грозowymi тучами. Спросил бы Лупиту: зачем ты развешиваешь выстиранную одежду, если очень скоро хлынет дождь и тебе придется бежать снимать ее? Зачем поливать посеы, если завтра будет дождливый день? Он бы с удовольствием спросил своего крестного, почему тот ничего не сделал, чтобы предотвратить гибель урожая в морозную ночь прошлой зимой. Разве он не знал, что наступят холода?

Как рассказать о постоянно преследовавших его образах, проплывавших на внутренней стороне его закрытых век, или о грядущих событиях, которые он во всех подробностях видел до, в течение и после их свершения? Как ему узнать, что видят другие люди, когда закрывают глаза? Почему взрослые закрывают уши, нос и глаза, когда вокруг можно столько всего услышать, унюхать и увидеть? А может, только он один слушает и слышит, а остальные просто не умеют этого делать?

Как обсудить эти вопросы, если рот не подчиняется сигналам его разума и из него не вылетает ничего путного, кроме гнусавого бульканья и утиногo кряканья? И, поскольку у него ничего не получалось, он ничего и не делал. Симонопио понял: чтобы произнести простейшие вещи, требовались титанические усилия. Разве стоили они труда, если никто его не понимал?

И вот, сидя возле неподвижных ног няни Рехи, которая, не покидая кресло-качалку, всем своим существом устремлялась к дороге, где однажды они встретились, Симонопио погрузился в молчание.

Беатрис Кортес сидела там, где приличествовало сидеть председателю оргкомитета бала Великой субботы, который ежегодно устраивали в казино Линареса. Она много месяцев хлопотала о возобновлении этой замечательной традиции, столь любимой в отрочестве и юности. Этот бал, оставшийся в прошлом, не ведавшем войны, был местом неизбежной встречи знатных семей из Сальтильо, Монтеррея, Монтеморелоса и Уалауисеса, которые ежегодно проделывали неблизкий путь, чтобы туда попасть. Помимо основного бала, в эти дни устраивались также небольшие вечеринки в асьендах и на ранчо гостеприимных жителей Линареса. Гуляли все: супружеские пары, женатые давным-давно, навещали друзей юности, молодежь знакомилась между собой, а кто-то, если повезет, встречал любовь всей жизни.

Дамы из высшего общества сперва отказались от участия в организации бала, однако Беатрис убедила их в том, как важно вернуться к обычаям прошлого. На бал никто не придет, твердили дамы. Все боятся, что по пути на них нападут. Да и с какой стати устраивать пир во время чумы? Вероятно, они были правы, и все же Беатрис решила попробовать. Сколько времени требуется, чтобы традиция умерла безвозвратно? Последний раз бал устраивали лет восемь назад. Кто знает, быть может, еще не поздно возродить то, что кажется

умершим.

Она сделает все возможное, чтобы традиция балов в Великую субботу вновь обрела жизнь. Хотя бы попытается. Ради юных дочерей. Иначе как одно поколение посмотрит в глаза следующему и скажет: «Я позволила умереть одной из немногих вещей, которую ты должна была унаследовать»?

Беатрис отнюдь не была женщиной легкомысленной. Не танцы и не изящные платья она хотела спасти, но чувство сопричастности к следующему поколению, к поколению своих дочерей, которых недавно пришлось отправить в Монтеррей, где они продолжили свое обучение в монастыре Святого Сердца Иисусова. Она хотела спасти воспоминания, на которые Кармен и Консуэло имели полное право, спасти связи, которые им предстояло наладить, проводя дни своей юности в доме предков.

Она всю жизнь занималась балом, хотя лучше других знала, что едва ли дело выгорит: людям не хватало еды, не было и денег. Но иной раз случается так, что женщина вынуждена сама себя спасать, а для Беатрис Кортес-Моралес организация этого бала, присоединение к новому благотворительному обществу, задумки и осуществление разных видов общественной и благотворительной деятельности в их городе означали одно: спасение. Она все равно не могла насытить нуждающихся или остановить войну и убийства. Единственное, что было в ее силах, – это не потерять здравый смысл, а единственный известный ей способ этого достичь – про-

должать вести дела семьи, помогать городской бедноте, заниматься шитьем и, да, организовать ежегодный бал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.